

Асали Аббасова

ДРАГОМАН И УБИЙЦА

«Если обратиться к античной традиции путешествий в потустороннее царство, то ее авторы ясно представляли себе, в каком виде придется человеку предстать перед всевидящим оком; Мазарис, побывавший за (тем) рубежом, свидетельствовал, что там «все были наги, некоторые исполосованы рубцами и, как сдается, отмечены таким образом вследствие множества совершенных ими преступлений», — или нечто вроде того бормотал старик Фрай, трудясь во всю свою душу над очередным переводом в окружении неровных стопок листов с удивленно оттопыренными углами. Иногда Фрай, если перевод не удавался или шел так себе, по проторенной, но не вдохновенной дороге, отрывал уголок-другой, отправлял в рот и задумчиво пережевывал бумажный комок, подбирая нужное слово на вкус. Помогало. К вечеру мы собирали ненужные записи, что-то рвали, что-то убирали в шкафы. Удивительно, как тяжела бумага. Так, в общем, и проходил мой скромный день за спиной, за взлохмаченной седой головой Фрая, под скрип карандаша и бормотание старого человека, случайно попавшего в богом забытый мир высказанных слов и корпевшего над разрозненными фрагментами текста. Мне было легче — никто не требовал от меня таких же интеллектуальных подвигов, как фраевские, и платили постранично три американских доллара.

Бормотание прекратилось, спина старика Фрая разогнулась, чтобы я смогла узнать в нем своего лучшего друга, рука его слепо потянулась за измятой пачкой папирос, но, нащупав под хрустнувшей глянцевою плотью пустоту, в замешательстве застыла. О мгновенной перемене, произошедшей в его голове, нетрудно было догадаться: античные тексты еще не были забыты, но магические чернила, которыми они записывались в его уме, тотчас же бесследно растворились. Остались горечь во рту и ужасающее предвосхищение вечера без сигарет и без сна, когда, как деревья в густом лесу, непереваден-

ные слова вставали бы перед его закрытыми бессонными веками, а мысли — собаки — гнали бы его во тьму. Но на сей раз спасение пришло к Фраю в виде чудом уцелевшего, скорчившегося окурка в маленькой жестяной Помпее из-под кофе, набитой обгоревшими спичками и пеплом дешевых папирос. Легкие Фрая утолили внезапный голод.

И так изо дня в день. Голова раскалывалась от боли, из нее будто высыпались и, падая, множились гранатовые зерна, которые катились под бумаги, под ноги, под стол, и не было тому конца. Воздуха конторе было выделено ровно столько, сколько необходимо для поддержания жизнеспособности шести отравленных никотином организмов в течение нескольких рабочих часов, которые определенно подходили к концу. Коллеги-переводчики по-прежнему трудились у мерцавших компьютеров, согнув спины или призраки оных перед моим лицом. Фрай, признававший за компьютером лишь право быть партнером в партию «дурака», кропотливо записывал что-то карандашом.

Желтые лампы, пятна на обоях, походивших на старческую кожу, подтеки ржавых слез на стене, из которой выступили костистые трубы — ничто не изменилось за проведенные нами там годы. Но разрушение, которого так долго обещало все вокруг, так и не наступило, и слава богу, а может, просто был не черед. На противной стене, в смысле — положенной против, оклеенной обоями табачного цвета или приобретшими таковой за десять с лишним лет, висел небольшой портрет женщины, завернутой в белые ткани, так что открытыми оставались только круглый лоб и глаза. Плотное запеленатое страдающее лицо, отделенное от тела, напоминало само по себе младенца либо огромный кокон, — вот тебе, казалось бы, мука звучащего смысла там, где он должен был просто бесследно уйти, как вода в песок, но, к несчастью, задержался на поверхности. Портрет был не очень хорош, но нарисован, подарен и повешен на стену Фраем в день моего тридцатилетия, и потому дорог.

Я выпила последний глоток кофе из чашки — третьей за день, о чем свидетельствовали подлые круглые пятна на исполнительных листах, разложенных на столе, и несколькими командами исправила в переведенном тексте все «жизненные повреждения» на «прижизненные», «нежизненные» — после мучительных сомнений, застрявших в голове, — на «полученные после (момента) смерти», а

даты «2001/03/18» соответственно на «18/03/2001». Филология явно не справлялась с определением того незаметного момента, который вроде бы завершает жизнь, но за которым все продолжает тянуться, произрастая, тонкий и прочный, как волос, мост, соединяющий наш мир с миром иных. Черт, в общем, я не уверена...

Впрочем, в стране происшествия, подробно изложенного в судебных бумагах, над которыми я трудилась, на самом деле, шел 1422-й год:

Доктор Ахмад Каранфаль в накрахмаленном халате с памятной биркой «Эмерикэн Мэйо-клиник» на нагрудном кармане продиктовал последние строки машинистке (двадцать три года, рост метр шестьдесят, определивший вершину карьеры, сертификат об окончании курсов делопроизводства, персидская кошка Лу-Лу цвета персика, квартира с видом на проспект Независимости, молодой человек с неопределенным видом на жениховство, сорок комплектов постельного белья и прочее), выдернул из машинки лист и хладнокровно вычеркнул все сентиментальные фразы, проскользнувшие в потоке его эмоциональной речи, вроде: «при виде тела покойной офицер Сувайдан невольно вздрогнул», «несчастливая, возможно, подверглась насилию» и «девушки, проживавшие в комнате, представляли собой жалкое зрелище ввиду образа жизни». Он велел (срочно) зарегистрировать отчет, поставил под ним подпись и вызвал машину. Его ждали к обеду жена и дочери. Перед этим надо было заглянуть к доктору Сибаи, который обещался вычитать к вечеру новую статью доктора Каранфалья «Антропофагия сегодня: пережиток древних эпох или неутолимая жажда насилия?» для журнала, издававшегося Центром Короля Фейсала в Рийаде (важный раздел статьи был посвящен канадской экспедиции 1967 года, застрявшей во льдах на шесть недель, по истечении которых до лагеря добрались лишь двое упитанных и бодрых мужчин, воодушевленно, но разноречиво описавших трагические события). Но, выйдя из темного коридора на залитую солнцем лестницу, доктор на мгновение ослеп.

На ум ему вдруг пришли все шаткие обстоятельства нового дела, внушавшие ему неприятное чувство тревоги, как если бы это каким-то образом могло коснуться слабого и бесцветного течения его собственной жизни. Заседание открылось в среду, в Генеральной прокуратуре эмирата, при участии Халида Амина аз-Заруни

(помощник прокурора) и Али Рашида (секретарь следствия). Доктору Каранфалью был срочно прислан пакет документов. Согласно поступившим из Центрального бюро полиции материалам дела 198 о смерти иностранки Гюльзоды Гуллиевой (1980 года рождения, уроженка Какании), содержащим исходное заявление и перечень принятых мер, два плана места преступления и протокол дознания на трех листах, подготовленный начальником сыскного отделения, «18 марта, около девяти часов утра в полицию поступило сообщение о том, что под высотным зданием в районе ар-Ракка обнаружена молодая женщина без признаков жизни. В ходе расследования было установлено имя покойной. Ответчица Молчанова (1965 года рождения, уроженка Украины) дала показания о том, что она познакомилась с вышеупомянутой покойной вечером 15 марта в доме подозреваемого Арслана (1970 года рождения, уроженец Какании), а в субботу 17 марта, ближе к ночи Гуллиева пришла к ней на квартиру и попросила помощи, потому что не хотела больше оставаться с ним, Арсланом. Вскоре после этого подозреваемый Арслан связался с Молчановой по телефону, а затем и сам явился к ней в сопровождении высокого, бритого наголо человека и настойчиво расспрашивал о местонахождении Гуллиевой, но Молчанова сказала ему, что не знает, «где девку носит». Закрыв дверь за гостями и вернувшись в свою комнату, Молчанова увидела, что комната действительно пуста, но через некоторое время Гуллиева, все это время прятаясь под кроватью, выползла, вся в пыли и паутине, и тогда Молчанова сказала ей в сердцах, что «довольно паясничать, это не детский сад», и что ей чужие проблемы не нужны. Молчанова также показала, что в воскресенье 18 марта, примерно в два часа пополудни, то есть после смерти Гуллиевой, подозреваемая Фарида (1962 года рождения, уроженка Татарии) по сотовому телефону назначила Молчановой встречу в продуктовом отделе супермаркета в районе ар-Ракка и, встретившись с ней, сообщила срывающимся голосом, что в субботу вечером к ней тоже приходил подозреваемый Арслан в сопровождении незнакомого высокого, наголо бритого человека, и они вдвоем обыскали ее квартиру в поисках Гуллиевой. Она также сообщила Молчановой, что в воскресенье, в восемь часов утра Арслан связался с ней по телефону и, угрожая ей всеми мыслимыми расправами, расспрашивал о местонахождении Гуллиевой. В ответ Молчанова сообщила подозреваемой Фариде, что у «девчонки с головой, видно,

было не все в порядке», а Фарида стала снимать со стеллажей банки с фасолью, всего взяла семь штук, и все бросала их в корзину, пока Молчанова ее не остановила и не вывела из супермаркета.

В ходе повторного допроса Молчанова попросила закурить и вспомнила, роняя пепел на колени, что в воскресенье 18 марта, в половине девятого утра подозреваемый Арслан позвонил ей по телефону, смеялся и расспрашивал ее о местонахождении Гуллиевой, заметив при том, что сама девушка ему «не нужна, потому что мешок картошки у них дома стоит дороже и весит больше», но больная мать Гуллиевой, проживающая в одной из провинций Какании, поручила ему заботиться о ней. Через десять минут после этого разговора раздался звонок в дверь квартиры Молчановой, и высокий бритый человек, с силой толкнув дверь, за которой стояла, вцепившись в дверную цепочку, Молчанова, ворвался в дом и прошел в комнату, где в тот момент спала Гуллиева. Ничуть не смутившись, он взял ее за руки, выволок из постели и, тряся ее из стороны в сторону, сонную, стал требовать, чтобы она шла с ним, но девушка отказалась. Тогда он взял ее за косу и стал требовать с нее денег для некоего «человека, который делает визы». На вопрос, как в тот момент вела себя потерпевшая, подозреваемая Молчанова сказала, что девушка оставалась спокойной, «навряд ли сомнамбулы», и все повторяла по-русски: «Нет, нет», а еще: «Боже мой, боже мой. Я хочу спать». Потом тот бритый незнакомый мужчина позвонил подозреваемому Арслану по мобильному телефону и переговаривался с ним около пяти минут. После разговора он вновь обратился к Гуллиевой со словами: «Дрянь, ты что, не боишься быть побитой, ничего не боишься, наглая тварь, мы тебя научим бояться, будешь ползти за мной на коленях», и пытался удержать ее то за руки, то за волосы, но она неожиданно вырвалась и выбежала на балкон. Затем мужчина убежал.

На вопрос, что она помнит из происшедшего, подозреваемая Фарида вспомнила, что потом Молчанова, при упомянутой выше встрече с ней в супермаркете, предположила, что девушка выпрыгнула с балкона, потому что тот человек пришел, чтобы увести ее к Арслану, с которым она не хотела больше оставаться.

При дознании над ответчицей Ларисой (1970 года рождения, уроженка Украины) выяснилось, что в то утро она проснулась в квартире Молчановой от женского крика и звука, «похожего на шум, произведенный падением тела». На вопрос Ларисы, «что происходит в этом

чертовом доме», подозреваемая Молчанова ответила, что девушка, ночевавшая с ними в квартире, якобы вышла на балкон покурить и упала. Лариса увидела посреди комнаты незнакомого ей человека с желтоватым цветом лица, высокого, без усов и бороды. По ее словам, «он стоял в оцепенении, уставившись взглядом прямо перед собой, на распахнутую балконную дверь, за которой лежало обычное небо серым полотнищем. Спустя некоторое время человек, так и не произнеся ни слова, убежал». Подозреваемая Лариса решила, что это был сон. Она снова легла спать, накрыла голову подушкой, и больше ничего не слышала, ничего не знает.

Также был произведен арест подозреваемого Муртазы (1973 года рождения, гражданин Саудовской Аравии), который находился в соседней квартире, оставленной ему его другом, господином инженером-консультантом Исламского банка. Было установлено, что подозреваемый встречался с покойной Гуллиевой в баре отеля «Холлидэй-Инн» субботним вечером, «а рано утром в воскресенье, проснувшись в своей квартире, услышал шум и невнятные разговоры за стеной». После строгого дознания подозреваемый Муртаза сообщил, что в то утро, случайно приблизившись к стене, которая отделяет его комнату от соседней квартиры Молчановой, и коснувшись стены ухом, он услышал дикий смех, показавшийся ему похожим на смех подозреваемой Ларисы, с которой он часто сталкивался в лифте их дома, а также в баре отеля. Едва он отошел от стены, как смех оборвался, спустя минуту послышался странный звук со стороны окна. Подозреваемый Муртаза уточнил, что звук был похож на «шум от падения тела на землю». Никаких криков о помощи, мольбы или угроз он не слышал. На момент задержания подозреваемого в его комнате находилась подозреваемая Милана (1970 года рождения, уроженка Какании). На вопрос о цели ее пребывания в квартире, подозреваемый сообщил, что это его подруга, у которой он берет уроки языка. Задержанному предъявлено обвинение в употреблении спиртных напитков. Из квартиры изъяты: две бутылки виски, пачка сигарет «Мальборо» (для проведения экспертизы), две коробки женского белья фирмы «Триумф».

В ходе дознания над обвиняемым Мусаковым (1961 года рождения, уроженец Какании), который был задержан ранним утром во вторник, в пустом баре отеля «Хилтон», где он, по свидетельству бармена Али, «просидел четыре с половиной часа в жалком состоянии, с

погасшим взглядом и безучастным видом, так и не притронувшись к выпивке», он отрицал факт своего знакомства с Гуллиевой, но когда уже не мог отпираться после пристрастного дознания, признался в том, что на самом деле заходил в квартиру, где проживают девушки, и где в тот момент с ними находилась покойная Гуллиева, с целью забрать ее оттуда и передать своему другу, подозреваемому Арслану, с которым она больше не хотела оставаться. На вопрос, зачем Арслану нужна была девушка, обвиняемый сообщил, что больная мать Гуллиевой семидесяти лет, проживающая в Какании у дальних родственников, просила юношу позаботиться о ее дочери во время пребывания в эмирате. При сем препровождаются отчет об опознании личности обвиняемого Мусакова, протоколы, 13 фотографий покойной, в том числе фотокарточка из паспорта с туристической визой, срок которой истек в прошлую субботу».

Доктору вспомнились маленькие, будто детские, руки покойной, испещренные едва заметными морщинками, но вот лица ее он никак не мог припомнить, хотя оно вроде бы стояло перед его глазами белым пятном, словно лепесток из цветка, рассматриваемого в лупу. Внезапно у доктора мелькнула мысль, — не упустил ли он чего, осматривая тело, и не заявил ли чего прокурору, что можно было бы истолковать как домысел. Тогда все завистники, которые и так давно дышали ему ядом в лицо, нашли бы хороший повод для пересудов. Но нет, перебрав в памяти все свои заключения, — о том, что обманутая была умерщвлена путем удушения до падения с балкона, на что указывали переломы и синяки в области шеи, и что промежутки времени между удушением и падением был, очевидно, небольшим, а зажившие шрамы на запястьях покойной безусловно относились к такой давней поре, что никак не могли служить доказательством ее склонности к суицидальным актам, — доктор Каранфаль вновь согласился сам с собой и все кивал себе в ответ, вспоминая, как он отвечал заседателям на слушании у прокурора. С удовлетворением он вспомнил, как уважительно вытянулось лицо у председательствующего, когда доктор, закончив свои показания, вдруг неожиданно для самого себя добавил: «...И мы напишем по этому поводу обстоятельную статью, предназначенную для нашей молодежи, чтобы они воспламенились желанием заслужить рай: пусть поступают соответственно, пусть страшатся ада и избегают совершать акты, которые приводят туда».

Не замечая любезных приветов, поклонов и свежайших улыбок персонала, доктор Каранфаль спустился по лестнице и, продолжая размышлять о причудливом мире Аллаха, куда временами просачивается странное, противное разуму зло из черных дыр, по сути, наверное, способное только оттенить благолепие жизни, вышел из клиники. Шофер, обогнув черную, лоснившуюся под солнцем машину, торопливо открыл для него дверцу. Но доктор Каранфаль уже не спешил. Для него дело было завершённым.

Для меня — далеко нет. Меня ждали еще две папки с потертыми краями, перетянутые поперек пуза желтыми лентами и чреватые неоднозначным смыслом, потому что тексты, вместе с изложенными в них событиями, которые для авторов обрели законченный вид, для меня еще не свершились. Заказчик, с которым мы едва были знакомы, позвонил рано утром: «Дорогая! Как жизнь, все в порядке? Все готово? Если что не так, ты только скажи, и мы все проблемы решим, а если надо, и морду набьем кому надо...» Встреча была назначена на шесть тридцать вечера в кафе по моему выбору.

— Он сутенер, — объявила я старику Фраю, затягивая ленту вокруг папки, как веревку на шее приговоренного.

— Откуда ты знаешь?

— Из дела. Из того, что его интересует. К тому же, он так разговаривает с людьми.

— Ха! Многие так разговаривают, — сказал Фрай. — Ну и что же? Никакой тон не умалит нашего достоинства, если будет оплачен.

— Вы деградируете, — заметила я.

— Деградация — то же развитие. Нет развития, нет жизни. Жизни нет.

Мы вывалили остальные папки на дно шкафа, Фрай повернул ключ на два оборота, словно в последний раз и (о, если бы) навсегда, и мы вышли из конторы, клоповника, мышеловки, гадких адских щелей, битком набитых делами, подобных тому, которое досталось мне. Но день еще не закончился.

В руках Фрая болтался не раз уже постиранный целлофановый пакет. В кафе он высыпал из него в блюдо соленые сухарики, которые ему собирала на работу жена — существо с удивительно кротким голосом, напоминавшим о прикосновении к шелку. Кафе не имело названия, вернее, как мы однажды случайно обнаружили, оно просто-

напросто выцвело на вывеске, казавшейся пустой, и так получилось, что наш выбор пал на него. Мы часто останавливались там по дороге домой, чтобы обсудить наши дела и выпить пива. Вокруг пестрели имена, названия, повисшие, как крик, над полуразвалившимися строениями (удручающая топография предместий ада, названия без мест), и одно, намалеванное черной краской над подернутой дымкой улицей, постоянно притягивало наш сдвоенный или двойственный взгляд, блуждавший по окрестности за окном, — «Абсолют», точно отвечавшее содержанию пространства-провала, огражденно-го бетонным забором, за которым в распахнутых настежь воротах лениво передвигались фигуры рабочих в засаленных комбинезонах и рубашках с прорехами. В прорехах зиял тот же провал, немощь тела, слабый проблеск жизни — тот просвет, за который люди любят протертую до дыр одежду. В одной части двора, скрытой от глаз наблюдателя, происходила какая-то бесконечная механическая сборка, ибо рабочие на протяжении всего времени, которое мы проводили в кафе, и, по-видимому, на протяжении многих дней, переносили из одного — невидимого — угла в другой — необозримый — железные детали немислимых форм. По левую сторону от этого таинственного предприятия тянулась ограда с огромными, в рост человека, латинскими буквами «Моука». Стало быть, там что-то еще и мыли.

— На сегодня достаточно, — сказал Фрай, задумчиво разгрызая сахар и впадая в мальчишескую болтливость. — Десять страниц — и не больше того. Мозги тоже должны отдыхать. Отдыхай, работа никуда не уйдет. Вранье, что можно оставаться в постоянном умственном напряжении. Это для гениев. Мы не гении — мы другие существа. Я, к примеру, Фрай. Фамилия такая, значит — свободный, а потому вольный быть кем угодно, хоть бездельником и дураком. Свободен не думать, если не хочу. Скажем, о чем ты только не передумала за свою жизнь? Ты уже обо всем передумала, все осмыслила. Да и за ту вечность, которую ты здесь провела, определенно не осталось ничего, о чем ты могла бы себя еще расспрашивать. Я — уж тем более. Идти дальше бесполезно, я это понял давно, поэтому радуйся, что и после смерти ты остаешься в одной из самых вольных и прекрасных областей Какании, можешь работать, можешь вот так, как сейчас, не думать ни о чем... Не райские кущи, конечно, но здесь почти все так же, как в жизни, даже запах гари не слышен и дым великой печали не разъедает глаза. В детстве — да, в детстве было, куда идти и о чем

рассуждать. Когда моя мама вышла замуж за человека в блестящих сапогах (это его фамилия Фрай, он пропал, а имя ко мне прижилось), соседка сшила для меня рюкзак, чтобы утешить, дабы я не очень печалился, — такой, знаешь, отличный рюкзак из парашютной ткани. Мы жили в Мнемниках... Знаешь, кто такие мнемники? Рыбаки. Рыбы ведь не говорят, а делают «мня-мня-мня». Вот там я и жил, в местечке, где рыбаки всё пытались рыбу заговорить, ну а та не давала себя обмануть, так ни разу никому и не попалась. Каждое утро я надевал свой рюкзак, сам — метр с кепкой, штаны на лямках, — и выбегал на лестницу. Ребята во дворе гоняли футбол, звали меня, а я садился на ступеньку, доставал из рюкзака книгу и читал. Ты бы знала, что я читал! Профессор. Помню, это был внушительный том, так мне казалось, — «К критике философии Гегеля» Фейербаха, стащил из библиотеки. Слышала о таком? Да не Фрайербах, смотри, толстуха, не перепутай где, а то захочешь блеснуть умом... Он у меня всегда был в рюкзаке. И ночью мне почему-то снились конники, чумное поветрие, врановые птицы... Но это другая книга, я много читал. А может, делал вид, что читал, — понять ведь все равно ничего не мог. Какая разница? Вот так, с Фейербахом за спиной, я и уехал из дома. Вышел однажды — и напрямиком на вокзал. Говорят ведь: ноги сами несут туда, где твое сердце — про счастливицков. Сидел я на лестнице и представлял себе, что за спиной у меня парашют. Мне десять лет, я никому не нужен, один, на крутой лестнице, и мне не нужен футбол, утешение матери, школа, кино, теплая свекла на столе, ничего мне не нужно, и я мог бы спрыгнуть с лестницы, закрыв глаза. Спрыгнул. На вокзале толпился народ, запахи зверские сшибали с ног — это последнее, что я помню. Запахи нищих, запахи провожающих друга, встречающих любимую, потерявших ребенка, опоздавших на поезд, запах последнего возвращающегося с войны. Ты не знаешь, что это такое, невозможно тебе этого знать. А я, как слепой щенок, прошел сквозь всех них, ну и пинков, конечно же, по пути получал, — как же без этого? Вот тогда-то я понял, что, когда человек перестает пахнуть, когда нельзя, коснувшись носом его щеки, понять, кто он, о чем плачет, что он ел вчера, кого он обнимал, кто его ждет дома, — это самое плохое, поверь мне, это значит — нет человека, нет людей, а есть только пустые оболочки и гремящие в них слова, погремущки.

— Да разве такое в жизни бывает, Фрай? — спросила я. — Разве что в воображении.

— Воображение так сильно, что меняет жизнь даже в худшую сторону, — сказал он, хихикая, именно хихикая, прикрыв рот ладонью, будто речь шла о чем-то смешном и даже постыдном, но таким бывал Фрай, когда его одолевали самые нешуточные мысли. — Там, где я потерялся, пахло все, благоухало, смердело, воняло, источало все мыслимые запахи, и я потерялся, уехал в степь, потом — в твой город, беспризорник Фрай, голожопый Фрай, выучил много языков, написал много статей. Набузил в институте, забрался еще на одну пожарную лестницу и увидел в окне свою невесту. Это не вся, конечно же, жизнь, но ведь и не все в ней имеет смысл. Не спорь, ты ведь не дожила до моих лет. Смысл — вот, в этом сухарике, приготовленном моей женой, в моей дочке, которой я сочинял стихи. На этом счет заканчивается. Видишь, какой совершенный сухарик? Поешь. Говорят, хлеб мертвых горек, — вот ерунда. Хлеб живых горек, а этот — попробуй, ты не ела ничего более вкусного... Так-то лучше. Теперь попей. А стихи мои слышала? Попугай попугай попугаю: Попугай, я тебя попугаю. Попугай, ты не меня не пугай! — попугал попугай попугаю. Вот, это мои стихи. Ей нравилось. Ты бы видела, как она радовалась, моя дочка... — Фрай поднял глаза и вдруг стал похож на человека, который в безлюдной пустоши увидел, наконец, перед собой окно родного дома, или любого дома, показавшегося ему родным. Глаза его, блестящие под мохнатыми бровями, были очень старыми, словно говорили: «Сейчас же ты забудешь меня вовек», — но я бы никогда не забыла.

Официантка, издавая густой запах фиалок и тела, подошла к соседнему столику, полила его крышку водой из стоявшей там же цветочной вазы и начала вытирать образовавшуюся между грязных тарелок лужу тряпкой, затем, прерванная воплем из-за стойки бара, быстро собрала посуду. Ваза с сиротливо болтавшейся в остатках воды веткой базилика захотела переменить место, и незамедлительно была водружена на наш столик.

— Что-то не идет наш сутенер — работодатель, — заметил Фрай, поправляя ветку.

— Вот бы он вовсе не пришел, — сказала я. — Зря я взялась за эту работу. Ничего я не понимаю в судебных разбирательствах. И денег мне его не надо. Зачем вообще в Какании деньги? Что тут с ними делать? Здесь и так хорошо. От этого ужасного перевода у меня температура.

Мы познакомились с Фраем много лет назад, весной, в четверг, в трамвае. Он ехал на городское кладбище номер два, проведать дочь, с охажкой свежих цветов на коленях, с которых все сыпались бархатные лепестки, а вокруг вилась неиссякающая мошкара, от которой Фрай почти одурел, я — брать расчет в школе, где бессмысленно преподавала имена и глаголы галдящей толпе, которая к тому же меня за то небезосновательно презирала. На этом торном пути мы познакомились, разговорились, а потом он устроил меня на работу в переводческую контору, и у меня все прошло, как рукой сняло ощущение огромной бесформенной мысли о неопределенном будущем, которая, бывает, заползает в человека и начинает заполнять все его непросторное существо. С Фраем было спокойно. Бывают люди, которые начинают говорить, вроде бы путано и бестолково, но что-то в их голосе есть, что заставляет слушать, ты внимательно смотришь им в глаза, потом — настолько внимательно, что уже перестаешь слышать и понимать, а они все продолжают говорить, ты уходишь сквозь них, затем возвращаешься воздухом и начинаешь снова их слышать, но уже всей своей кожей, каждым волосом, как саму жизнь, и тебе вдруг становится спокойно и легко. И я спрашивала потом, как бы мы познакомились, если бы не случайность. «Никак. Не было бы в том нужды», — ответил тогда Фрай. Так и сейчас, оторвав руку от моего лба, он просто сказал:

— Ерунда. Может быть, водочки? Помогает.

Я посмотрела на улицу. На то, что открывалось за железными прутьями, за тюлевыми занавесками со слипшимися комочками паутины и засохшего соуса «Пикадор».

— Почему они все время называют ее «обманутой»? Жертву. «Обманутая лежала под домом», «обманутая была не жива». Жертва, то есть.

— Специфика языка, — предположил Фрай, зевая. — Истина — жизнь. Смерть — обман.

— А по-моему, никакой логики, — сказала я. — Вы меня запутываете. И в этом ужасном деле, которое мне подсунули переводить, никакого разумного хода суждений нет. Я перевожу и все время думаю, какой кошмар, а вдруг все это окажется правдой. Боже, какое несчастье, если это окажется правдой. Я так этого не хочу, вы себе не представляете. Если под словами «перелом», «ключица», «тело», «окно», «доктор», «бакалейщик» и прочее они имели в виду именно

это, все эти события и вещи, какими я их себе могу представить. Что же тогда делать? Они заставляют меня жить вместе с собой между этими словами, застревать между ними, я хочу выбраться, и не могу. Представляете, я перевожу: «Свидетельница проснулась, но решила, что все еще спит», и застреваю вместе с ней в ее пьяном сне, и нет возможности нам выйти, нет возможности проснуться, хоть бейся головой об стену. Пишу: «вскрытие показало», и там застреваю, смотрю, не могу оторваться, на край белой простыни, в которой кто-то лежит, и боюсь отвести взгляд, чтобы не увидеть еще чего-то ужасного. Я сама, как вор, как убийца, пробираюсь в ту комнату и вижу. Я столько раз уже побывала в той комнате, что знаю в ней каждую деталь, каждый тапочек в углу, каждый волос, застрявший в расческе. И голоса этих женщин — они ужасны, они все кричат: мы не виновны, но все это звучит как-то... глумливо. Это плохо. Я не хочу этого переводить, и остановиться не могу... Я уже задыхаюсь в этой атмосфере. На что они надеются? На апелляцию? Я вижу, как они ее обманывали, я все это им пишу, как есть, но что, если это в конце концов окажется правдой?..

— Ты плохой переводчик, — заметил, нахмурившись, Фрай. — Ты все нам испортишь, они тебе не заплатят. Они пожалуются, и тебя уволят. И потом, мне говорили — это опасные люди. У них там, в эмирате, остался товарищ, они его хотят вызволить.

— Вызволить — сюда? — я поразилась.

В этот момент перед нами из задымленного воздуха явился заказчик во всем блеске своей белой нейлоновой рубашки с умопомрачительно грязными манжетами. По-цыгански ловко достав откуда-то из воздуха газетный сверток, залепленный со всех сторон скотчем, он швырнул его на стол и присоединился к нам. Я придвинула к нему папку с бумагами, и он, тщательно помусолив палец, начал старательно перебирать и пересчитывать листы. Тогда-то я впервые его хорошо разглядела, его маленькое сухое изможденное лицо, впавшие смуглые щеки, наспех подстриженные и давно немые волосы, спадавшие короткой челкой на лоб. Взгляд его с каждой минутой становился все бестолковей. Заказчик подобрал с пола салфетку с отпечатком чьего-то ботинка и стал царапать на ней карандашом цифры.

— Двенадцать штук двести пятьдесят. В пакете чуть больше, я упаковал, но сдачи не надо. Примем потом в расчет.

— Вы бы сначала прочитали, — посоветовала я. — Может, вам не понравится.

— Самое главное — ты мне нравишься, я тебе верю. Доверие между людьми — это почти уже связь.

— Ну, все-таки... — я пододвинула к нему бумаги.

Фрай наступил мне на ногу.

— Хорошо, хорошо, — сказал торопливо заказчик. — Это не для меня. Платит брат, вот пусть он и читает. Ты пока дальше переводи, а это я ему передам.

Но бумаги он все-таки вновь взял в руки и стал их перетасовывать, раскладывая в две неравные по объему стопки — одну потоньше, другую посолиднее, пока совершенно все не перепутал, но читать он, видно, не умел. Потом, послунявив карандаш, начал аккуратно подделывать цифру на последней странице.

— Скажу, что ты больше перевела. Я же тоже должен что-то иметь, — пояснил он, что означало, что и он выполнял чей-то заказ.

— Это обман! — воскликнула я.

— Это справедливость, — терпеливо объяснил заказчик, оторвавшись от своего усердного труда. — Ни в одном законе Какании не прописано, чтобы одни жрали в три горла, а другие бегали по их поручению и не получали ни хрена.

Фрай снова наступил мне на ногу, и я решила, что мне на все наплевать. Официантка, приблизившись к нам, презрительно сообщила, что наш столик не обслуживается, потому что она одна, а нас уже много, и через полчаса в кафе будут играть свадьбу.

— Целую, целую сладкие ручки, — сказал на прощание заказчик, обращаясь то ли ко мне, то ли к официантке. — Встретимся через пару дней.

— Что ж ты не спросила у него, кто убийца, — сказал Фрай, провожая взглядом его спину. Но уже погас свет, под потолком зажглись цветные фонарики, в помещение вбежали люди с кипой сахарно желтых скатертей, и нам пришлось уйти, оставляя место восторгу, веселью, танцам и сверканию знаменитой каканийской парчи.

За всем тем день начал быстро и решительно угасать. Фрай поспешил к своему дому, прежде посадив меня в последний на территории Какании трамвай, а у меня в голове все продолжали звучать неперевержденные кошмары, сбивавшиеся, перебивавшие друг друга

голоса, ясные до такой степени, когда уже не знаешь, что реальнее — ты или они. И мне таки пришлось их слушать.

«В связи с тем, что младший офицер 1-го ранга Центральной инспекционной полиции Сувайдан (двадцати семи лет от роду) столкнулся с одной из подозреваемых на месте преступления, мы допросили и его. На вопрос, что ему известно об этом деле, офицер дал следующие показания:

«18 марта, примерно в девять утра мы получили сообщение о том, что в районе ар-Ракка, поблизости от гостиницы «Холлидэй», под жилым домом обнаружена мертвая молодая женщина. Поэтому я, в сопровождении двух офицеров — Абдуллы Шамси и Ибрахима Кайди, направился к месту происшествия. Там мы действительно увидели труп, распластанный на земле, в огромной луже крови, с лицом, обращенным вверх. Мы вызвали доктора Каранфаля, фотографа, эксперта по дактилоскопии и прочих людей для проведения расследования. Человек, охранявший здание, сказал, что он собирался спуститься в прачечную за своей сестрой, помочь ей вынести белье, но услышал непонятный шум на улице, вышел, чтобы узнать, в чем дело, и обнаружил под домом незнакомую ему женщину, которая уже не подавала признаков жизни. Сестра сторожа вынесла кусок ткани и накрыла покойницу. Осмотрев место происшествия, мы увидели, что одно из окон на седьмом этаже открыто. В этот момент неподалеку появился растерянный разносчик-индус с пакетом в руках, сообщивший нам, что он должен был доставить продукты для девушек, проживающих в 709-й квартире, но, прибыв на место, никого там не нашел. Немедленно поднявшись с другими офицерами на седьмой этаж, мы вскрыли дверь квартиры и увидели вполне обычную обстановку, если не считать оставленных в беспорядке постелей и распахнутых окон и двери на балкон. Выглянув вниз, я увидел под зданием подозрительную иностранку в мусульманском платке, которая стояла, склонившись над телом. Мне показалось, она вся дрожит, впрочем, с седьмого этажа я мог и ошибиться. Тотчас же спустившись вниз, я заговорил с ней, спросив, была ли она знакома с покойной. Сначала она отрицала это. Но я спрашивал ее снова и снова и, наконец, она ответила, что не видит лица женщины, а потому не может сказать с уверенностью. Тогда я снял с лица покойницы покрывало, и та женщина, представившаяся мне как Фарида, сказала, что да, эта девушка приходила к ней за день до того

и просилась заночевать, но получила отказ. Девушка приходила к подозреваемой Фариде из-за каких-то недоразумений, возникших между ней и неким опекавшим ее Арсланом».

На вопрос, призналась ли Фарида в том, что к ней приходили люди в поисках Гуллиевой, офицер ответил, что ни о чем таком женщина ему не рассказывала, а только стояла рядом с ним и молча рассматривала покойную, пока он снова не накрыл лицо мертвой покрывалом, потому что ему «стало не по себе от такого бесстыдства». Офицер также добавил, что «все лицо покойной было окутано печалью и страхом», и мы избавили его от дальнейших расспросов и отпустили.

Затем в следственную комнату была вызвана подозреваемая Молчанова (тридцать шесть лет, туристка), поставленная в известность о том, что Генеральная прокуратура возбуждает против нее дело в связи с обвинением в соучастии в убийстве. На допросе Молчанова отрицала выдвинутое против нее обвинение. На вопрос, есть ли у нее защитник, она ответила отрицательно. Тогда ей были заданы вопросы, на которые она, не колеблясь, ответила:

«Я ни в чем не виновна. В прошлую субботу, около восьми часов вечера ко мне пришла Гуллиева, жалуясь на какие-то проблемы, и попросилась переночевать у меня одну ночь. Она обещала покинуть эмират на следующий же день. И вправду, вскоре она позвонила своей матери в Каканию с просьбой послать кого-нибудь встретить ее в аэропорту. Той же ночью, около полуночи она собралась в бар гостиницы «Холлидэй Даун-таун», развеяться напоследок, и предложила мне пойти вместе с ней. Девочка оказалась разбитной, расторопной, — на первый взгляд и не скажешь. Ну, мы и пошли. В баре я взяла себе пиво «Хайнекен», а Гуллиева пила фруктовый сок. Пока мы были в баре, болтая по пустякам, мне позвонила подозреваемая Фарида, моя соседка, и сообщила, что Арслан вместе с другим мужчиной явились к ней, разъяренные, в поисках Гуллиевой. Она предупредила, что они наверняка придут за нами в бар. Фарида также сообщила мне, что мужчины узнали о том, что Гуллиева собиралась вылететь в полдень следующего дня из Абу-Даби на родину, и намеревались помешать этому, чтобы вернуть ее на работу. Она ведь работала на своего земляка Арслана и его жену Майю. Примерно в час ночи мне позвонил подозреваемый Мусаков и попросил меня выйти из бара, «поговорить по душам». Он сказал: «Выйди, Людмила,

надо серьезно поговорить. Не подставляй нас, сестренка». Я вышла одна и увидела, что Мусаков ждет меня у машины, а неподалеку, за углом гостиницы прятался Арслан. Он прятался, но я все равно увидела, потому что его тень ни с чем другим не перепутаешь. А пока мы сидели в баре, Гуллиева мне рассказала историю, ну просто хоть стой, хоть падай, — как дома, когда она закончила школу, Арслан познакомил ее с иностранцем из благотворительного фонда «Дети свободной Какании», на предмет замужества, а когда дело дошло до замужества, оказалось, он уже с него деньги взял за нее, продал, в общем. Ничего особенного, но смешно. А это его девушка была, между прочим. Очень ловкий парень. Но, как женщина говорю, она его благодарить должна была, потому что когда она себя порезала потом, сумасшедшая, он ее по больницам возил и много на нее потратился. После этого он ее уговорил на себя работать, мол, не всю же жизнь ему ходить вором, и она ему помогла. В общем, на улице Мусаков попросил меня вывести девушку, иначе он-де переломает мне ноги. В это время Гуллиева пряталась в туалете бара, куда я заранее отвела ее и наказала сидеть там до моего возвращения. Затем мужчины ушли, потому что ничего от меня не добились, а я пошла в женскую комнату за Гуллиевой, но не сразу ее нашла, потому что она спряталась в кабинку и сидела там, забравшись с ногами на бачок. Она замерзла, и вся дрожала, там же кондиционеры, но поскольку мужчины убрались восвояси, мы с Гуллиевой решили еще остаться в баре. Причем, что-то в голове у нее видно повернулось, и она вдруг впала в чрезвычайное возбуждение и веселье, просто срам. Затем, в половине четвертого, мы вернулись домой и легли спать. Около половины девятого утра я проснулась от головной боли и позвонила в супермаркет, чтобы мне принесли сигарет «Мальборо». Примерно через пять минут в дверь позвонили, и я пошла открывать, думая, что это разносчик с сигаретами, но увидела, что за дверью стоит подозреваемый Мусаков. Только я приоткрыла дверь, как он, пакостник, с силой толкнул ее, едва не сшиб меня с ног, вошел в квартиру и направился напрямик в мою комнату, где в тот момент спала Гуллиева. Его просто распирало от гордости за самого себя, будто он герой и может делать все, что угодно. Видала я таких героев — они герои с девочками разбираться, а случись чего, что не укладывается в их узкий лоб, так они нюни распускают и ищут, за чьей юбкой спрятаться. В общем, он разбудил ее и говорит: «Давай, пошли». Но она

отказалась. Тогда Мусаков собрал с пола ее тряпки, которые она где попало сняла вечером, швырнул ей в лицо, чтобы одевалась, а сам позвонил Арслану и его жене Майе, спросить совета, как ему поступить, — они ведь знали, наверное, как с ней управиться, — а они попросили его привести к ним девушку любым способом. Как хочешь, говорят, веди, хоть тащи, хоть тяни, хоть за ноги волочи. Думаю, они наняли его для этого за деньги. Тогда Мусаков сдернул с Гуллиевой простыню, схватил ее за руки и вытащил из постели. Взял так, и вытащил, поставил на ноги. Они препирались минут десять, а потом я вдруг увидела, как она, извернувшись, выскользнула из его рук, побежала к балкону, схватилась за балку обеими руками и быстренько спустилась за перила. Мы даже не успели опомниться от такой прыти. И я услышала, как она говорит по-русски: «Все!», что значит что-то вроде «хватит» или «довольно». После она разжала руки и упала вниз. Вот и все, что случилось. И даже драки никакой не было. Он только схватил ее за руки и вытащил из постели».

На вопрос, было ли у подозреваемого с собой оружие, Молчанова ответила, что оружия не было, убивать он Гуллиеву не собирался, а случившимся был поражен, будто не понял, что собственно произошло. Только повернулся к Молчановой с каменным лицом и спросил: «Где она?». Допрошенная также указала примерное время падения Гуллиевой с балкона — без десяти минут девять. Отвечая на вопрос, не она ли указала Мусакову местонахождение девушки в квартире, Молчанова вспомнила, что дверь в ее комнату оставалась открытой, «будто так и звала в себя», поэтому мужчина направился напрямик туда и нашел спящую. Там же спала подозреваемая Лариса, которая проснулась от крика Молчановой после падения девушки, а до того «ничего не соображала, потому что была вдрызг пьяна». На вопрос, звала ли Гуллиева на помощь, висая на руках под балконом, и пыталась ли она взобраться обратно на балкон, Молчанова ответила отрицательно. Мы спросили также, почему она не помешала подозреваемому схватить девушку, не помогла ей потом, когда та повисла за балконом, и не позвала никого на помощь. Молчанова подробно осветила данный вопрос, сделав высказывания, вызвавшие у нас серьезные сомнения:

«У меня тоже есть сердце. Я бросилась за ней к балкону, едва она туда побежала. Я пыталась ее остановить и кричала: «Что ты делаешь, сумасшедшая!» Я очень за нее испугалась. Но тот человек встал

у меня на пути, раскинув руки, и не подпустил меня к ней, чтобы я не помогала. Почему он это сделал, не знаю. Может, думал, пока она там висит, на ветерке, у нее голова проветрится, а он ее потом вытащит и поведет под ручки к Арслану. Но вообще-то она и не звала меня. Он ведь ее не бил, только вначале попридержал за руки и только спросил, не боится ли она, что ее побьют. Так и спросил: «Не боишься оказаться побитой, девочка? Не боишься, что будет больно?» Он сказал еще, что ей долго придется заниматься проституцией, чтобы погасить свой долг перед ними. Кто же знал, что такое случится? Видно, с головой у нее было не все в порядке. Знала бы, ни за что не пустила к себе ночевать».

На вопрос, была ли девушка жива до падения, и есть ли у нее какие-либо доказательства, подтверждающие ее рассказ, Молчанова повторила, что «сама видела, как она разжала пальцы и полетела вниз», но доказательств тому привести не может. На вопрос, что она думает по поводу заключения судмедэксперта о том, что потерпевшая подверглась насилию, о чем свидетельствуют многочисленные, свыше сорока, синяки и переломы костей рук, ног и позвонков, определенные доктором Каранфалем как полученные при жизни, была задумана и рассталась с жизнью до падения, Молчанова ответила: «Вы смеетесь надо мной. Я верю своим глазам, а не расследованиям. Я и сама способна понять, живой передо мной человек или нет». Молчановой предъявлено обвинение в употреблении алкогольных напитков и в недонесении о преступлении. Обвиняемая признала свою вину по первому пункту, но не признала по второму.

Подозреваемая Лариса (тридцать один год, туристка), была также поставлена в известность о том, что Генеральная прокуратура возбуждает против нее дело по подозрению в соучастии в убийстве. На вопрос, есть ли у нее защитник, она ответила отрицательно. Ей были заданы вопросы, на которые она ответила при помощи нашего прежнего переводчика:

«Я не виновна. Я помню, что девочка пришла к нам около восьми часов вечера в субботу 17 марта. Тогда я впервые увидела ее. Расположившись в нашей спальне, она сразу же стала звонить своей матери и обещалась приехать домой на следующий день. Около двенадцати часов вечера Молчанова, как обычно, начала собираться в бар соседней гостиницы, Гуллиева же сидела на кровати и казалась очень грустной. Наверное, соскучилась по дому. Видно было, что

девушка без башни, но домой-то хочется. Тогда Молчанова позвала ее с собой, развеемся, и сказала, что даст ей поносить свои серьги, чтобы поднять ей настроение. Еще она обещала повести ее утром по магазинам, чтобы купить чего-нибудь домой, конфеток и всего такого. Гуллиева заметно повеселела, стала собираться, и они вышли в одну из ближайших гостиниц. Вскоре после того, как они ушли, я легла спать, а, честно говоря, перед тем выпила две стопки водки, чтобы заснуть — а не то сердце пошаливало, и поэтому не слышала, в каком часу они вернулись. С выпивкой у меня не очень, но вот ежели выпью, то дурные мысли, конечно, не то, чтобы совсем рассеиваются, но заметно отступают. Утром уже, сквозь сон я услышала мужской голос в квартире, но решила, что все еще сплю. Еще я услышала издали крик Гуллиевой, как она вдруг громко выпалила по-русски: «Все!», то есть: «хватит». Затем я услышала шум, вскочила и стала спрашивать, что в доме происходит, но Молчанова подошла ко мне, обняла и прошептала на ухо, будто бы Гуллиева выбросилась с балкона. И тут я увидела в комнате подозреваемого Мусакова. Он постоял немного посреди комнаты, потом молча развернулся и вышел в коридор, как тень, а потом — из квартиры, только дверь хлопнула. Лица его я вначале не видела, потому что он стоял ко мне спиной, а когда медленно повернулся, то свет бил из-за его спины, отчего лицо его показалось черным, но потом, когда он проходил мимо, вон из комнаты, я его немного разглядела. Мне показалось, он очень подавлен, а больше ничего не помню, потому что он шел, как будто только что вышел из моего сна, втянув голову в плечи. Вот так. Я была в нервном потрясении, набросила на себя одежду, ушла из дома и пошла к одной своей подруге на рынке, которой привожу товар. Оттуда я позвонила нашей соседке Фариде, а она сказала мне, что находится в полицейском участке, и попросила меня прийти для дачи показаний. Тогда я пошла в полицию. Я была в шоке».

По нашей просьбе обвиняемая также подробнее раскрыла характер своих отношений с остальными обвиняемыми по этому делу:

«Молчанова и Фариде мои подруги. Что касается подозреваемого Арслана, то я знаю его постольку, поскольку он часто приходил к нам, так как раньше с нами какое-то время жила его жена, Майя. Майя прехорошенькая, ничего. Она снималась в журнале, в клубах танцевала, сразу видно — человек искусства. На ней хотел жениться один шейх, влюбился до смерти, увозил ее на Кадиллаке, но у нее

один зуб пластмассовый. Вообще-то не видно, особенно если она рот не открывает (всего-то и делов — заткни свой рот, молчи и улыбайся), но он как-то разглядел, и ему не понравилось. Но ей он все равно не был нужен. Майе ничего не надо, только денег. Разбуди ее посреди ночи, спроси, чего она хочет, скажет: дайте денег. Я не шучу, мы проверяли. Положишь ей в ладошку монетку, она спокойно заснет. Подозреваемого саудовского араба я не знаю. Бедняга. Мусакова я тоже не знаю. Вообще, я привожу товар и продаю его здесь, мне позарез как нужно — у меня муж с сыном в Данциге, им тяжело. Они там работают, горбатятся, а я здесь. А о том, кто здесь чем занимается, я не знаю, мне это не интересно. Я родилась на Украине, потом родители привезли меня в Каканию, мой отец был военным. Он рано умер, мама умерла, и я жила в детском доме. Я столько в жизни перевидала, что мне не интересно, занимаются ли мои соседи проституцией, сводничают, гонят самогон. Не знаю. А ежели сводничают, то мне какое дело? Я никому не завидую. Все, что я слышала, это, как она крикнула: «Все!», иначе говоря — «вот все и кончилось», а может — «все, оставьте меня в покое», или — «все, с меня хватит». Все может быть. Звала ли она на помощь, не знаю, потому что спала. Жалко, конечно, девочку, но я спала. Я, правда, не могла проснуться, за сном шел еще один сон, и еще, и невозможно было поднять голову, бывает такое, это кошмар, это никогда не кончается, не можешь пошевелить рукой, некого, совершенно некого звать на помощь, да и невозможно, потому что ты не в силах губами пошевелить. Такой сон. В детском доме утром приходила няня. Придет, поцелует, разбудит, положит потихоньку на подушку кусок лепешки с медом и уходит. Только тапочками — ширк-ширк-ширк. Откроешь глаза — ее уже нет. Лежишь, ешь, и думаешь, а вдруг это была мама, или сестра, или, на худой конец, тетя. А почему Мусаков пришел к нам, я узнала только потом, со слов Молчановой. Когда я увидела его, мне показалось, он был в замешательстве, но потом он очень быстро ушел. А Молчанова шепнула мне, что девочка выпрыгнула с балкона. Мне это показалось странным. Мне это показалось таким странным, что я еще немного поспала — думала, может, все обойдется, потом встала, взяла свои вещи и сразу ушла. Прежде я хотела пойти посмотреть на Гуллиеву, как она там лежит, одета ли и все такое, но не смогла. Там я ходила по улице, не знала, куда идти, и пришла к своей старой знакомой на рынок. Что я расслышала ясно — это ее голос перед паде-

нием. Но тогда Молчанова была в комнате, и я уверена, что если бы подозреваемый стал душить девушку, то она бы ему помешала или стала бы кричать. Я не имею никакого отношения к этому делу. Я пришла в полицию по собственной воле. Возможно, случилось что-то, ставшее причиной насилия или самоубийства. Кто знает? Гуллиева родилась в деревне, она мне рассказывала в тот вечер. Кто знает, что у них там, у деревенских, в голове? Она там уже себя показала, а потом к ее матери пришли соседи и сказали: «Приструните же, наконец, свою дочь! К ней ходят бандиты, приносят подарки, вон — у вас уже весь дом в подарках. Она еще и в брюках ходит — да сначала бы диплом получила, потом показывала бы свой красивый зад, а то ученая больно. У нас тоже взрослые дочери, их замуж не берут из-за вашей Гуллиевой, из-за вашего соседства. В вашем квартале, говорят, видно, все девушки такие — жизнь хорошо знают, глаза у них на все открыты, это не для наших сыновей. Так что возьмите ее в руки, безотцовщину, а не то мы сами ее живо приструним», и принесли с собой палки. Она сама мне рассказывала. Я потому и напилась — с этого, с жалости. Такая девушка могла и сама с крыши броситься, и других довести. Что бы вы мне ни сказали, все похоже на правду».

Кроме того, в следственную комнату была вызвана подозреваемая Фарида (тридцать девять лет, служащая), рассказавшая, что накануне происшествия Гуллиева приходила к ней в слезах и умоляла разрешить ей остаться, и даже пыталась поцеловать Фариде руку, но та «не позволила ей не то, чтобы коснуться себя, но и переступить порога ее дома». Поэтому Гуллиева отправилась к Молчановой, с которой однажды встречалась у Арслана. Ночью Фарида, собравшись запереть входную дверь своей квартиры, случайно посмотрела в глазок и увидела, как Молчанова вместе с Гуллиевой направляются к лифту, нарядно одетые и довольные. Фарида предположила, что они отправились прогуляться перед сном, и сама легла спать. Около половины второго ночи она проснулась от звонка в дверь и, открыв, увидела нахмуренного Мусакова, за спиной которого маячил Арслан. Они спросили, где прячется Гуллиева, но Фарида не сказала им ни слова о девушках, однако потребовала, чтобы мужчины «убрались и больше не шатались посреди ночи». Едва они ушли, о чем-то споря и обмениваясь злобной бранью вперемешку на своем и русском языке, Фарида немедленно позвонила Молчановой на мобильный телефон и пересказала ей свой разговор с мужчинами, а также предупредила,

что они, скорее всего, направились в бар, за Гуллиевой. Фарида посоветовала девушкам оставить клиентов и спрятаться где-нибудь на время, а сама, на всякий случай, помолвившись еще раз, опять легла спать. Проснулась она утром из-за крика подозреваемой Ларисы, которая выбежала в коридор и, стуча кулаками в дверь Фаридиной квартиры, сообщила, что Гуллиева выпрыгнула с балкона.

После нашей просьбы охарактеризовать свои отношения с участниками этих событий Фарида сказала, что Лариса и Молчанова, живущие по соседству, ее старые приятельницы. Она также заявила следующее: «Что касается Арслана, то я знаю негодяя, потому что он часто заходит к нам, побирается. То дирхам подберет, то поесть чего-нибудь. Гуллиева была первой женщиной, в отношении которой Арслан занимался сводничеством, но не очень у него это получалось, потому что он привез себе жену Майю семнадцати лет от роду, городскую, хотя Гуллиева, видно, надеялась сама когда-нибудь выйти за него замуж; а если такая женщина своего не добила, ни за что она не будет делать, что ей велют, хоть ты бей ее двадцать четыре часа в сутки. Майя собирала все ее деньги и относила все в банк, а ей говорила: «Мы расплатимся со всеми долгами, а после вместе откроем в Какании магазин, будешь жить, как человек. Если захочешь, отправим тебя потом в хадж с моей бабушкой». А Гуллиева ей однажды за это запустила в голову хрустальной тарелкой. Разбила окно. Одни были от нее убытки, а кроме того, каждый день скандалы. Поэтому, думаю, он решил продать ее своему приятелю Мусакову, чтобы тот вернул ее на путь. Молчанова девушку пожалела, домой к себе пустила, но Мусакову все-таки потихоньку позвонила, чтобы он пришел ее забрать. Мои подруги женщины честные, хоть и потаскухи, им чужого не надо. Но если бы, как вы утверждаете, Мусаков побил девушку или, не приведи господь, истязал, то они бы немедленно за нее заступились. Я бы сама услышала и заступилась, потому что у тех, кто на земле заступает за несчастных, на том свете тоже находится всемогущий заступник и поручитель». На наш вопрос, почему Фарида не пришла в полицию с заявлением о случившемся, она ответила, что была напугана, не знала деталей трагедии и не вполне понимала, какие последствия это может для нее повлечь. Подозреваемой Фариде предъявлено обвинение в недонесении о преступлении и в употреблении спиртных напитков, а именно водки, регулярно выпиваемой ею в собственной квартире, что обвиняемая упрямо

отрицает, но на что указывает найденная под ее кроватью початая бутылка и медицинское обследование. Конец речи. Подписи».

— Фрай! — крикнула я. В телефонной трубке что-то захрипело, щелкнуло, затем раздался громкий стук. — Что там у вас?

— Ничего, — отозвался наконец мрачно Фрай. — Услышал твой голос, упал и описался от счастья. Пять утра. И ты звонишь мне в эти редкие минуты покоя. Ты в порядке?

— Я поняла, зачем нужны эти переводы. Эти преступления, которые накапливаются у нас в конторе, зачем они нужны?

— Это отвратительно, — сказал он. — Ты об этом и представления не имеешь, а тормозишь меня с утра.

— Они превращают эти преступления в самое доподлинное зло, и мы тому помогаем.

— Ааах, — протянул Фрай. — А может быть, наоборот. Никогда ведь наверняка не узнаешь. Ложись-ка спать. А лучше, знаешь что, почитай мне чего-нибудь, поскольку я уже не засну. К тому же моя фея вот уже идет готовить мне чай, ищет тапочки — и еще что? — Ах, да, спички. Она очень на нас сердита.

«У меня всегда была слабость к таким вот бестолковым, темным делам. Стоит появиться какому-нибудь мало-мальски разговорчивому хлыщу, который умеет трепаться, да обставлять все красивыми словами, как я размякаю, как тряпка, самому потом тошно. Так-то я крутой, у меня мускулы железные, я по три машины мешков разгружал. Настоящий шедевр, а не мужик. Знать бы только, где поскользнешься... Да знал ведь — встретишь вот такого человечешку, что, ей-богу, ничтожней кожурой от банана, и все, считай — конец, точно поскользнешься и сам не уследишь, где и как, да за что. В субботу, около одиннадцати вечера мне позвонил Арслан, спросил, где я, есть ли у меня машина. А кто мне Арслан? Мальчишка, слизняк, мусор, хлам. Ну, я сказал: «Есть машина. И что?» Узнав, что подо мной машина, он обрадовался и попросил меня приехать в район ар-Ракка, где живут девушки. Ну, девушки, так девушки. Почему нет? Настроение у меня было злобствующее. Хотелось расслабиться. Полгода в чужой стране — это, по-вашему, человеческая жизнь? Ни просвета, ни работы, ни человека своего, чтобы по душам поговорить, а все, что заработаешь, отдаешь за поганое жилье.

Это справедливо? Ха-ха-ха. Я вам смеюсь в лицо. Да я у себя дома не стал бы жить в такой конюшне, в какой здесь оказался. У меня дома пять соток земли. Стоит мне выйти на улицу, все, кто бы ни шел навстречу, здороваются, кланяются. «Здравствуйте, брат! Как жизнь, как здоровье, дорогой дядюшка? Зайдите к нам, в чайхану, посидим как-нибудь, побеседуем. Не зайдете, обидимся, очень вы нас тем огорчите, хотя мы и люди маленькие, в институтах-техникумах не учились, разве что только в калидорах с зачеткой стояли». Вот так. Это люди открытые, нормальные, деда моего уважали, отца моего уважали. Могила моего деда три метра в длину, ей-богу. Чудо, что был за человек. Каждый год вокруг вся земля зацветает, отойдешь подальше — там земля еще черная, пожухлая трава, подойдешь к его могиле — а там зеленая травка пробивается, белые цветочки, шелковые, как шерсть у ягненка. Просто чистый был человек, и все. Пройдет мимо нашего дома какая-нибудь девчушка с ведром яблок или смородины, увидит мою мать, так непременно остановится, полведра ей высыплет, хоть той и не нужно. Потому что не сделать этого — стыдно. Пронести что-то мимо — стыдно. Не поздороваться — стыдно. Есть у людей стыд. А здесь вокруг меня собрались такие, как Арслан, больно жадные до жизни, гребут неимоверно, а на чем наживаются? Живут, можно сказать, грешным-нагрешно. У меня руки — вон, до сих пор черные, как будто вчера в саду, в земле копался. А у этих — руки розовые, ровно как у невест. У меня, конечно, жизнь здесь не мед, как у них, зато дома у меня все в полном порядке — все сыты, все честным трудом перебиваются, женщины все — сестры, племянницы, тетки — прилично одеты, у всех по бархатному пальто, не стыдно на людях показаться. Сестренка училась в Германии, выиграла три конкурса, теперь на телевидении передачи ведет. Я едва не расплакался, когда увидел. А отец, честно говоря, расплакался прямо при всех, — у нас же вся улица собралась, — не ожидал, что она у нас такая ладная и умная выйдет. В общем, я даже обрадовался, что Арслан мне позвонил, потому что больше всего на свете мне в ту минуту хотелось увидеть перед собой его гладкое бессовестное лицо и ударить по нему кулаком. У меня даже губы пересохли от волнения, едва я представил себе эту впечатляющую картину. Думал — сейчас увижу его и спрошу, сколько сегодня выручила его жена Майя, хватит ли ее выручки за год на подержанный БМВ? Мы встретились на

перекрестке, он сел ко мне в машину, весь взмокший и запыхавшийся, и говорит: «Короче, брат, никого у меня больше нет, кроме тебя. Ты мне должен помочь вернуть одну девушку. Она меня серьезно подставила. По гроб жизни буду тебе благодарен». Посмотрел я на него, сплюнул, и тронулся с места. Буду я пачкать руки о такого слизняка! После этого мы подъехали к тому дому и поднялись к Молчановой. Арслан позвонил в дверь, а я остался у лифта. В шикарном доме, скажу вам, устроились девочки. Потолки там резные, стеклышки, зеркала — блеск, в общем, недешевый. Ну-ка, думаю, посмотрю я, как ты будешь с этими бабами разбираться. Не обидели бы они тебя. Он звонил, стучал и костерил при этом всю дорогу Молчанову, на чем свет стоит — приятно было послушать, хоть стой и записывай за ним все подряд. Но ему, конечно же, никто не открыл. Тогда он стал ломиться в соседнюю квартиру. Наконец, дверь открыла женщина, взрослая уже, вся завернутая в одеяло, пьяная, как свинья, и с ее слов Арслан узнал, что Молчанова в баре с девчонкой. Мы тотчас же спустились вниз и направились к гостинице, той, что напротив их дома. Там Арслан набрал по сотке молчановский номер и попросил ее выйти из бара на улицу, поговорить. Она, как милая, вышла минут через семь. Красивая баба Молчанова, здоровая, высокая, гордая, как мужчина, опасная. Такая будет смотреть тебе только прямо в глаза, не моргнет, взгляда не опустит, не отведет, разве что слегка прищурится. Разве это женщина? Арслан нормально с ней поговорил и попросил сделать так, чтобы девчонка, Гюльзода, к нему вернулась. Молчанова же усмехнулась и сказала, каждое слово отчеканила: «Когда погасишь должок, тогда и получишь свою Гуллиеву». Молчановой, оказывается, причитался долг с Арслана. Тут уже я не выдержал, сгреб его в охапку, отвел в сторону и спрашиваю: «Ты что, дурак, неужто и вправду должен ей деньги?», а он только головой кивнул. Тут Молчанова стала хохотать и говорит: «Что, Арсланчик, позволить тебе, что ли, попроситься со своей любимой Гюльзой? А то ведь не увидишь ее больше никогда, а у тебя, говорят, с ней любовь. Я сейчас просто расплачусь». Арслан ей отвечает: «Да уж, поплачь заранее, потому что мы тебя из-под земли достанем. Тогда уже поздно будет плакать». А она ему: «Не беспокойся, у меня тоже заступники есть. У меня мужчины серьезные. Узнают, что ты мою (так и сказала), мою девушку обирал и колошматил, вылетит вон

из страны, только пятки будут сверкать». Но я думаю, она просто хотела нас припугнуть или цену набивала, потому что минуту спустя она все-таки до нас снизошла и сказала, нехотя так, позевывая, чтобы мы пришли к ней утром с деньгами, чтобы забрать Гюльзоду из дома. Тогда Арслан спросил ее, где же Гюльзода, но Молчанова на него зашипела — сушая змея: «Тебе-то что? Она сейчас занята, она с арабом». У Арслана, видно, не пропало чувство юмора, он и говорит: «Вот ведь стерва! Ведь может, когда захочет! Ну, ладно, пусть девочки развлекаются, поехали домой». По дороге он заправил мою машину бензином примерно на 10 дирхамов, но других денег не давал. Кажется, он очень был рад, что дело так обернулось, потому что глаза у него сияли, и весь он лоснился, как отполированный. Мне подумалось, он все-таки привык к своей Гуллиевой, наверное, и жить без нее уже не мог. Шутка ли — столько лет вместе, и столько она ему всего прощала, и не жадная была, по его же словам, ничего никогда не прятала, не воровала, не подставляла его. Да и не прожил бы он без нее — сам-то он ничего не умеет делать, щенок. Поэтому он весь был в предвкушении утра следующего дня, и все наставлял меня. Скажи, говорит, ей, что все теперь будет по-другому; вот так прямо серьезно ей и скажи: «Гюльзода, давай, не ломайся. Вернешься по-хорошему — все у тебя будет, соответственно, хорошо. Будешь одеваться, сама себе шмотки покупать будешь, нормально есть — тебе поправиться нужно. Никто тебя больше пальцем не тронет, никто не заставит тебя делать то, что тебе не нравится. Понравится самой — пожалуйста, делай, работай. Не понравится — никто не будет принуждать, вот тебе мое честное слово. Арслан тебя, как женщину, хорошо понимает, никто на свете тебя так не поймет, как он, а поэтому он на твоей стороне. Майю он домой отправляет, от нее все равно проку мало, вот пусть едет открывать магазин, хоть делом займется». Потом вдруг опомнился: «Смотри только, не переборщи, а то она совсем мне на голову залезет, сука. Передай ей, что она столько мне задолжала, что до конца жизни должна сама за мной ползать. Напомни ей про подарки, лекарства, визу, билеты, про все. Ладно, про подарки ничего не говори. Только обязательно скажи: это я ее прощаю, это я ей, в ущерб самому себе, во всем потворствую и к ней благоволю». Тут он мне так надоел, что я резко затормозил и говорю: «Сколько слов ты знаешь, сволочь. Давай, выметайся из моей машины. Дальше

пешком пойдешь, а не то меня сейчас стошнит от твоей болтовни». Он вышел. Я поехал к своим ребятам, которые в порту работают, немного поиграл с ними в нарды, душу отвел, успокоился. Надо же, говорю им, бывают такие любители за чужой счет красиво жить. Мало того, что они наших женщин продают, они и себя продать готовы. Все, конечно, со мной согласились, посудачили немного, потом задумались, нехорошо это. И мне было нехорошо. В воскресенье, после восьми часов утра, когда я спокойно ехал на своей машине по Дубаю — красиво, как на картинке, тихо, все еще в городе спят в теплых постелях, и солнце только начинает пригревать, — мне позвонила Молчанова и попросила ехать к ней поскорей, чтобы забрать девчонку. Вернее, прошептала и повздыхала так взволнованно, будто она меня не по этому делу вызывала, а так, ну, вы понимаете, в общем. Я тут же перезвонил Арслану и говорю ему: «Если хочешь получить Гуллиеву, хорошо бы застать ее врасплох, пока она там спросонок сообразит, что и как...». Он согласился и велел мне ехать на место, и я отправился к Молчановой. Дверь мне открыла Молчанова и опять же шепотом попросила подождать в коридоре, пока она разбудит Гуллиеву. А когда она открыла мне дверь, то была еще в сорочке — и как та еще только держалась на ее груди, непонятно, еле держалась, — а от волос молчановских пахнуло чем-то сладким, ванилью, что ли, которой булочки посыпают, и еще сигаретным дымом. Она пробежала по коридору босиком, заглянула в комнату, потом выглянула, обернулась ко мне и сделала знак: «Тссс!» Мол, она спит еще, подожди немного. И исчезла. Мне бы, дураку, пораскинуть мозгами, зачем я туда притащился, и сделать ноги, но я, болван болваном, остался там стоять в коридоре и стал думать, кого мне Молчанова напоминает. Примерно через две минуты она вернулась, очень недовольная, и сообщила, уже не шепотом, а довольно громко, что Гюльзода ни за что не хочет вставать и не соглашается идти. «Иди-ка ты сам, поговори с ней, только по-хорошему, и забирай к чертовой матери, куда хочешь и как хочешь. Она — ну детский сад какой-то — сейчас начнет плакать». Я прошел за ней в спальню, смотрю — Гуллиева сидит на постели, вся злая и взлохмаченная, а глаза, и в самом деле, на мокром месте. Вцепилась в подушку двумя руками. Я ей говорю: «Ну, ты чего? Уговор есть уговор. Мы уже договорились с Арсланом. Давай, быстро одевайся, собирай вещи, и пошли. Поедем на “мерседе-

се»». Но она ни в какую не соглашается. Смотрит на Молчанову, как на мать родную, а та встала у двери, руки скрестила на груди и разглядывает свой подвесной потолок. Гуллиева ей говорит с укоризной: «Ты же мне обещала. Я сегодня уеду, не буду у тебя комнату занимать. Я тебе за ночлег заплатила». «Да, — говорит Молчанова язвительно, не отрывая глаз от потолка, — только ведь ночь-то уже кончилась». «Но ты же сказала, что меня защитишь, что у тебя есть друзья. Ты же мне обещала». Смотрю — у Молчановой лицо все сереет и сереет, на шее жилы проступают, будто ее душит кто-то изнутри, я даже испугался за нее немного, но она, молодец, ни слова не промолвила, стоит и молчит, только взгляд вперила в потолок, будто тот вот-вот рухнет. Тут Гюльзода завывала. Я ей бросил вещи на постель, чтобы она одевалась, так она стала эти вещи по одной швырять в Молчанову, и кричит: «Ты меня продала, ты им сказала, где я! Ты меня не знаешь, ты меня скорее по кускам отсюда будешь выносить, потому что я сама, по своей воле, никуда с ним не пойду!» Я так и застыл, а Молчанова, как камень, только слегка повернула ко мне голову и глазами показывает куда-то в угол, делает мне знак. Там, в углу, смотрю, женская сумочка лежит. Я сразу смекнул, что это Гуллиевой сумка, там у нее билет был спрятан, паспорт, ну и всякая ерунда. Я медленно подошел, медленно сумку поднял, заглянул внутрь, опять застегнул замочек, и стою, держу на весу. Что, говорю, пойдешь со мной подобру? Она притихла, задумалась, взялась за свои косички, а потом говорит: «Я никуда не пойду. Мне и здесь хорошо. Я с Арсланом ни за что не останусь». Тогда мне пришлось звонить Арслану и Майе, его жене — так мол и так, обидели вы человека, не хочет она вас больше видеть, но Майя меня перебила и немедленно потребовала, чтобы я передал трубку Гюльзоде, чтобы поговорить с ней. Но Гюльзода говорить не захотела. Тогда Арслан и Майя хором мне прокричали в трубку, чтобы я взял ее за руки и прямо так вел к ним. Ну, я подошел к ней, схватил ее за руку, а она изворотливая оказалась, даже укусить пыталась, но я ей честно сказал: «Попробуешь кусаться, я тебе зубы выбью, а я этого очень не хочу, и тебе этого, думаю, не надо». Это я так, поугатать ее немного хотел — стал бы я бить девчонку! Она мне в дочку годилась. Вижу — это помогло, она голову опустила, задышала тяжело — видно, перепугалась до смерти, а сказать ничего не может, вся дрожит, как птичка. А я все держу ее за правое запястье,

как сейчас помню. Вытянул ее из постели, повел к двери. Возьми телефон, говорю, посоветуйся с Арсланом, родной же тебе человек, ничего страшного не будет. Но она, наверное, уже ничего и не слышала, шла, как сомнамбула, а если и слышала, то говорить не захотела почему-то. Тогда я ее руку отпустил. Смотрю — посинела уже вся, худющая ведь — страх божий. Но едва я это сделал (а мы уже почти добрались так, обманом и уговорами, до порога комнаты), как Гюльзода побежала обратно, и тут уже у Молчановой не выдержали нервы, и она кинулась ее ловить.

В этот момент я почему-то вспомнил, кого мне Молчанова напоминала, и мне стало не по себе. Да ничего особенного, но у меня словно ком в горле встал. Там, дома, помню, когда я был пацаненком, лет до пяти-шести, бабушка везде таскала меня с собой, как ручного. Сажала на плечи или велела, чтобы я крепко держал ее за подол платья, и водила меня, любимчика, за собой целый день то на рынок, то на свадьбу, то в гости. Как-то ехали мы с ней в переполненном автобусе, и я, как обычно, сидел на коленях у бабушки, уплетал ягоды из бумажного пакета, и тут на одной остановке на окраине города в автобус вошла такая вот пышная, как облако, юная Молчанова — не совсем такая, разумеется, а вовсе без единого изъяна, и много, много моложе — студентка, наверное. И с нею вместе из дверей полился непрерывный солнечный свет. У меня даже ослабели руки, я, кажется, обронил свой кулек с ягодами и уже сидел, не в силах оторвать глаз, а сердце мое готово было выскочить из груди. Она скосила на меня свои светлые глаза, улыбнулась и тут же про меня забыла, все смотрела в заляпанное сотнями пальцев окно, за которым проплывали старые дома и фермы. Была давка, она оказалась притиснутой к нам, отчего я почувствовал себя безмерно счастливым и даже осмелился потрогать рукой подол ее юбки, она же, ничего не заметив, стояла, ухватившись рукой за поручень, слегка покачиваясь, и грудь ее подрагивала под открытой блузкой, будто жила своей отдельной и прекрасной жизнью. Потом вдруг случилось нечто, за чем я не смог уследить, потому что перед моим лицом все только колыхалась полупрозрачная ткань, собиравшаяся в мягкие ситцевые складки. Откуда-то сверху — я испуганно поднял глаза — раздался ошеломленный женский крик, кровь брызнула на ситец перед

моим лицом, кто-то черный ринулся вперед, к выходу, расталкивая перепуганную толпу, бабушка громко охнула над моим ухом, схватила меня в охапку, едва не придушив, и спрятала мою голову на своих коленях, причитая, не давая вырваться. Потом, из разговоров бабушки с теткой, я узнал, что какой-то полусумасшедший парень, сидевший на заднем сиденье автобуса, дождаввшись остановки, вдруг протиснулся к студентке и полоснул ее по груди ножом или чем-то другим, острым. Такого в наше время не увидишь. Помню, я прорыдал весь вечер.

Я вышел в коридор, отключил телефон и только после этого понял, что взмок весь до нитки. Все внутри налилось тяжестью. Потом я подумал, что Молчанова и та девушка из автобуса — небо и земля, так, некоторые черты схожи и некоторые очертания, чтобы обман казался правдоподобнее. Надо было идти обратно в комнату, ловить сопротивляющуюся Гуллиеву, заканчивать с этим.

И так мне все это надоело до чертиков, встало поперек горла, что я бросил их там, в квартире, разбираться между собой, и ушел. Уходя, я слышал шум и перебранку между женщинами в комнате. Больше я ничего не могу вам сказать. Я спокойно вышел из квартиры, сел в машину, поехал, вернулся к себе домой, а по дороге позвонил Арслану и вкратце рассказал ему о том, что произошло. Ничего, говорю, не получилось. Всего я находился в квартире Молчановой не более десяти минут. Может быть, и того меньше. Около пяти часов, ближе к вечеру, мне позвонила Лариса, девушка, которая тогда спала в той комнате, где все и происходило. Преспокойно себе спала — значит, мы не больно-то и шумели. Она мне все и рассказала, о том, что дальше с Гюльзодой случилось, когда я ушел. По моему разумению, Гюльзода пострадала из-за Арслана. Она очень из-за него пострадала. Она работала на него, занималась проституцией. Я участвовал в этом деле случайно, потому что не смог отказать Арслану, он все-таки мой приятель. Надо подробнее расспросить Арслана. Да, я слышал, что он попал в больницу и содержался там под надзором, хотя, скажу откровенно, все у него с головой в порядке, а дурака из себя разыгрывать все горазды, лишь бы не отвечать перед законом. Что? Он уже сбежал из больницы? А я его недооценивал, вот мерзавец. Уверен, что он уже дома, за границей. Ах, все-таки был словлен в аэропорту... Ну, ничего, он еще за себя повоюет, та-

кие ищут выход до конца. Арслан договорился с Молчановой о том, что она передаст ему девушку, а за это получит с него свои 1500 дирхамов. Конец речи. Подписи».

«К сему прилагаются также показания покойной Гюльзоды Гуллиевой, обманутой и потому раз и навсегда прощенной и получившей разрешение вернуться домой, в Каканию: “Пороги так неприятны, потому что, сколько не подметай, там всегда к ступням прилипает песок. Из щелей сквозит сыростью. Но надо идти, переступить и идти, возвращаться домой. У меня все руки побиты. Что скажет мама? Вот стыд. Я ничего ей не расскажу. Арслан говорил: ужасно, как ты умеешь из всего делать тайну. Сумасшедшая, иди ко мне, сядь рядом, расскажи, о чем думаешь, чего ты все-таки добиваешься. Никогда больше к нему не подойду. На самом деле, я ненавижу тайны. Особенно днем. Днем, в пустой оглохшей комнате, когда вдруг вырубил электричество и остановился вентилятор, жара нависла над головами. Женщины в комнате притихли, на их лицах проступила мука. Мы едва не задохнулись от жары. Легли, накрылись мокрыми простынями с головой. Потом какая-то тень, вся замкнутая в себе, встала в мою сторону. Похоже, это была моя тень. Странно, можно, значит, не узнать себя. Теперь, когда меня уже нет, что ты станешь делать? Выворачивать мне руки, будешь меня пытать, дознаваться? Я ничего не чувствую. Все равно, разве есть пытка хуже понимания того, что ты все делаешь «сама по себе», по собственному разумению и побуждению, и знаешь обо всем, что происходит с тобой, намного лучше и яснее, чем способен домыслить кто-либо еще. Оттого я ненавижу тайны, что они кричат сами о себе, но их никто не может услышать. А будь они услышаны, какое искупление бы это принесло”».

— «...Тень замолкает, переступает порог, сдвигается в сторону и смыкается с другой тенью, растущей из окна и являющейся продолжением рожицы, тянущейся с гор над ее родной деревней. Наконец, дверь закрывается. Когда раз и навсегда закрывают дверь, комната принуждена молчать, а остальные — это ведь тоже теперь всего-навсего тени. Не исключено, что все они давным-давно прощены. И только мы с Фраем все еще слышим их голоса, которые продолжают до нас доноситься, как свет с давно погасших звезд, пытаясь

доказать, что мы их способны понять, а на самом деле только того и ждем, когда же, наконец, и мы получим прощение и навсегда будем избавлены от этого тяжкого труда».

— Пустое занятие, — сказал Фрай. — Твердая тройка за перевод. Двойка за домысел. Пять с плюсом за профессиональное соучастие в преступлении. Когда выплывешь, приходи на работу, толстуха. Как-нибудь попытаюсь спасти тебя от мести заказчика. Судя по всему, она неминуема. Да, тут моя фея сидит рядом, размешивает мне сахар в чашке. Она уже поостыла, просит тебе передать, что мы тебя любим, чтобы ты не горевала слишком из-за событий, которые, как тучи, проплывут над нашими головами и никогда, никогда не коснутся земли, хотя еще темна вода...

